

ДВА ЭССЕ

КЛЮЧИ ОТ «МИРГОРОДА»

Первый поворот ключа

Неужели в Миргороде водится нечистая сила, да еще такая, какой нигде в другом месте на всем белом свете не встречали?

А рыцари с чубами и сабелюками, в необъятных шароварах из дорогого алого сукна, нарочно, из презрения к богатству, вымазанных дегтем, те самые рыцари, что беззаветно преданы своему боевому товариществу и родной земле, они что ж, тоже из Миргорода?

Что ж это за дивный город, о котором только и было известно от людей, проезжавших через него в места более известные и привлекательные, что водится посреди этого города непросыхающая лужа, столь любимая свиньями, да еще водятся там бублики, весьма вкусные, хотя и «пекутся они из черного теста».

...В электричку берешь с собой книжку, готовую разделить с тобой все тяготы предвыходного путешествия, ту, что выдержит и тесноту, и напор, и каплю подтаявшего мороженого от зависшего над тобой попутчика, и... словом, томик Гоголя из серии «Библиотека школьника», с единственной картинкой на бумажной обложке, прошедший с тобой уже ни одну сотню пригородных верст, спутник надежный и проверенный.

Странное дело, есть такое понятие – «дорожное чтение». Относящаяся к этому разряду литература считается как бы «не претендующей». Не претендует она ни на достойный художественный уровень, ни на серьезность, ни на глубину, зато непременно должна быть занимательной...

И что ж это за занимательность, если ни уму, ни сердцу?

Да простят меня любители «легкого дорожного чтения», но ничего скучней развлекательной литературы не знаю.

Как говорил незабвенный Собакевич, «ты мне лягушку хоть сахаром облепи, а я ее есть не стану». Облепленные и хохмами, и сексом, и кровью «развлекательные лягушки» не для моего организма. Иное дело литература из серии «Библиотека школьника», здесь и десяток-другой страниц перевернешь – и снова чувствуешь себя школьником, но какой школы! Той, где до сих пор не покинули своих учительских мест лучшие и умнейшие люди нашего не бедного на таланты Отечества.

Иногда вещи как бы совершенно привычные видишь словно впервые, будто глаза у тебя шире открылись.

О том, что «Тарас Бульба» и «Вий» впервые были опубликованы Гоголем в сборнике под названием «Миргород», естественно, я знал, как и все, со школьных времен. А тут, увидев на бумажной обложке дюжего казачину во всей живописности своего наряда, вооружения и выражения усов, а под ним слово «Миргород», вдруг подумал: это что ж за загадку загадал мне Гоголь Николай Васильевич, а я все хожу себе и не вижу его долгой и тихой усмешки.

Нет, не зря он признавался своему другу детства, отрочества и юности А.С. Данилевскому: «Мне всегда приписывали какую-нибудь скрытность. Отчасти она есть во мне».

Ох, Николай Васильевич, «отчасти» ли?

Не весь ли вы скрытность и загадка, начиная со злосчастной поэмы вашей, с «Ганса Кюхельгартена», скупленного вашим слугой в магазинах Петербурга и преданного вами огню, и кончая неведомыми нам страницами второго тома «Мертвых душ», также обращенными вами в пепел?

Два костра озаряют вашу биографию, где и событий-то никаких, кроме разъездов да сочинительства, нет.

Освещают эти два костра вашу загадочную судьбу, но странным светом, нисколько не добавляющим ясности...

Случайного в своих сочинениях Гоголь не терпел, а потому и переписывал и совершенствовал свои уже увидевшие свет шедевры, и по многу раз. Стало быть, и четыре повести, парами, в затылок друг другу выстроенные в сборнике, поставлены так не случайно.

Первую часть «Миргорода», как всем известно, составляют «Старосветские помещики» и... «Тарас Бульба»!

Удивления достойна пара и во второй части: скачки на ведьме, полеты черного гроба в ночной церкви – это «Вий», и зауряднейшая история нелепой ссоры, которой даже названия не придумалось, и потому рекомендована она читателю как бы прямо объявленным содержанием: «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Окажись у меня в электричке под рукой книга «Реализм Гоголя» одного из самых замечательных исследователей творчества Гоголя Георгия Александровича Гуковского, погибшего в заключении и труда своего не закончившего, я еще бы раз перечитал страницы, посвященные «Миргороду». Впрочем, в памяти осталось впечатление о том, что исследователь уж очень сложно объяснял композицию «Миргорода», так сложно, что и запомнить не удалось. Пришлось на манер Тяпкина-Ляпкина, который, как известно, аж до сотворения мира своим умом дошел, попытаться, тоже своим умом, понять соединенность в пары уж очень различных героев.

Что за компания, создатель?

Пульхерия Ивановна с Афанасием Ивановичем, тишайшие люди, с одной стороны, и неударжимый в своих порывах Тарас Бульба с удалыми сыновьями, с другой.

А вторая часть? С одной стороны, «Вий», где главным действующим лицом означено железное лицо косолапого приземистого существа с длинными веками, опущенными до самой земли, и «Повесть о том, как поссорились...», где действующими лицами можно скорее признать бабу, вывесившую на просушку ружье, или бурю свинью, похитившую судебное прошение, но никак не Ивана Ивановича, не Ивана Никифоровича, фигуры совершенно неподвижные, способные разве что топтаться всю жизнь на месте.

Итак, понять, почему повести выстроены именно в таком порядке, именно в этот ряд, значит понять, быть может, что-то весьма важное в каждой из них.

Ключ к «Миргороду» – это ключ к четырем сочинениям совершенно удивительным и таким несхожим между собой по всем статьям, кроме мастерства исполнения.

И вместо того, чтобы читать взятую в дорогу книжку, начинаю решать задачу.

Естественно было предположить, что, открывая сборник «Старосветскими помещиками», до этого не публиковавшимися, автор рассчитывал на то, что с этой неизвестной читателю вещи и начнется чтение всей книги.

Дальше следует «Тарас Бульба», тоже впервые предьявляемый публике.

Можно предположить, что, поставив эти две вещи одну за другой, автор рассчитывал на эффект контраста... Логично? В том-то и дело, что *логично*, до уныния логично. Будто не гениальный писатель сборник «Миргород» составил, а начинающий литературный критик. Впрочем, случалось и Гоголю выступать критиком, но и в этой роли он оставался художником.

Тут же предстали в воображении впечатавшиеся в память подробности обеих повестей.

Как хороша военная нота в «Старосветских помещиках»!

Помните, как Афанасий Иванович пугал Пульхерию Ивановну своим намерением пойти на войну, причем сообщалось это непременно при госте? Гостя же Пульхерия Ивановна и утешала, демонстрируя при этом некоторую осведомленность в военном деле: «Где уже ему, старому, идти на войну! Его первый солдат застрелит! Ей-богу, застрелит! Вот так-таки прицелится и застрелит».

Врезались в память и боевые эпизоды из «Тараса Бульбы».

«Не уважали казаки чернобровых паненок, белогрудых, светлооких девиц; у самых алтарей не могли спастись они: зажигал их Тарас вместе с алтарями. Не одни белоснежные руки поднимались из огнистого пламени к небесам... Но не внимали ничему жестокие казаки и, поднимая копиями с улиц младенцев их, кидали им же в пламя. “Это вам, вражки ляхи, поминки по Остапе!” – приговаривал только Тарас. И такие поминки по Остапе отправлял он в каждом селении».

Нет у меня весов, на которых взвешу, чье душегубство страшней, ляхов ли, четвертовавших и снимавших кожу с живых казаков, или казачья месть за муки товарищей. Но есть ли сцена более жестокая в отечественной литературе прошлого века?

И есть ли в этой же литературе разговор более умильный, сердечный, исполненный участия и доверия друг к другу, чем беседы Афанасия Ивановича и Пульхерии Ивановны?

«За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.

– Мне кажется, как будто эта каша, – говаривал обыкновенно Афанасий Иванович, – немного пригорела; вам этого не кажется, Пульхерия Ивановна?

– Нет, Афанасий Иванович; вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелюю...

– Пожалуй, – говорил Афанасий Иванович, подставляя свою тарелку, – попробуем, как оно будет».

...И вдруг я понял, что никогда раньше не читал именно подряд эти две вещи, выстроенные автором одна за другой.

Что же соединяет эти два сочинения, что их сближает и делает как бы неотделимыми друг от друга?

Мне показалось, что я угадал, а может быть, услышал не высказанное автором прямо: обе эти вещи – о ЛЮБВИ!

Да, что бы ни говорили строгие и мудрые судьи о «существователях», чьи интересы не перелетают за частокол, огораживающий их усадьбы, но, отважись признаться, кто же не мечтал о гармоническом единении с другой душой, с другим существом, которое вот так же чутко, нежно, участливо и бескорыстно откликлось тебе и которому ты, в свою очередь, был бы так же не тягостно желанен и необходимо дополнял бы собою мир...

Ваша душа должна быть исполнена любви, настроена слухом сердца на постижение этого многообразного и высокого чувства, чтобы, вступив в следующую повесть, в «Тараса Бульбу», прочитать и ее как повесть о любви.

Доказательства основательности этого подозрения не влезут в короткие заметки, но что роднит добрейших и безобидных старосветских помещиков и пеструю вольницу запорожцев? Проба смертью.

Вспомните, как умирала Пульхерия Ивановна, и в смертный час всецело погруженная в мысли о своем Афанасии Ивановиче, коего любила, судя по всему, даже больше жизни. А как умирали казаки? Мы помним, как умирал Остап, помним и смерть Бульбы, не чующего под собой костра, но с радостною душою взирающего на спасение своих товарищей. А помним ли гибель множества славных казаков, того же Степана Гуски или Бовдюга, чья душа понеслась к вышним, рассказать, «как умеют биться за Русскую землю и, еще лучше того, как умеют умирать в ней за святую веру».

И тех, кто верен своей земле, верен товариществу, верен воинскому долгу, возлюбят казацкий бог!..

Я вспомнил, что видел этого бога. Он, чуть пряча улыбку, сидел в окружении счастливого хоровода апостолов в росписи центрального купола одной из самых старых киевских церквей, Кирилловской, что на Подоле. Именно он, румяный и круглощекий, не с терновым, а вроде бы и цветочным венком на челе, должен был принять из рук ангелов молодую душу сраженного вражьи копьей под сердце куренного атамана Кукубенко... «Садись, Кукубенко, одесную меня! – скажет ему Христос. – Ты не изменил товариществу, бесчестного дела не сделал, не выдал в беде человека, хранил и сберег мою церковь».

И то, что Христос обращается к атаману по-воински, по фамилии, напоминает о том, что и Он – воин и пришел в этот мир с мечом.

Нет, это надо же в себе чувствовать такую силу и такое право, чтобы взять вот так и взмахом пера начертать: «Садись, Кукубенко, одесную меня!..»

Это уже прямо строка из Евангелия от Николая Васильевича.

И мысленно ты уже несешься вслед гению и страдальцу, всю жизнь искавшему пути к высшей любви, все обнимающей, к высшей, последней правде и всепримиряющей справедливости...

Для чего возишь с собой томик из «Библиотеки школьника», читаешь для чего?

Для того и читаешь, чтобы встретиться вот с такой строчкой: «Садись, Кукубенко, одесную меня!..» и ходить целый день счастливым.

Второй поворот ключа

Как читать классику, чтобы прикоснуться к той глубине содержания, которая и составляет непреходящую ценность нашей великой литературы?

Наверное, это очень сложно... Нужно беседовать с многоумными людьми, читать мудреные литературоведческие книги, ходить на лекции и в кружки...

Да, конечно, кто ж спорит, но есть и другой путь приобщения к богатству содержания классических сочинений.

В этой связи мне памятен ответ великого пианиста XX века, Святослава Рихтера, на вопрос в телевизионном интервью.

«Сегодня очевидно, – сказали Святославу Теофиловичу, – что вами создана уникальная исполнительская школа. Что вы считаете отличительной чертой этой школы? Как вам удалось достичь такой глубины и оригинальности в вашем искусстве?»

Можно было ожидать пространного, оснащенного сложной музыкальной терминологией ответа. Ответ же был краток и прост, потому что отвечал гений.

«Я просто внимательно смотрю в ноты», – сказал великий маэстро и не добавил больше ни слова.

Внимательно смотрю в ноты?..

Понятно, что каждый из нас «внимает» и нотам, и написанному тексту в меру своих возможностей, но я убежден, что путь, указанный «школой Рихтера», безошибочен, плодотворен и доступен не только избранным.

...Ну что ж, попробуем без оглядок на необъятное количество комментариев к сочинениям Гоголя, *внимательно* взглянуть и на вторую часть сборника «Миргород».

Внимание же наше объясняется желанием продолжить поиски ответа, поиски нити, так причудливо соединившей в первой части и во второй разительно непохожие между собой повести.

В первой части сборника «Миргород» это сельская пастораль, «Старосветские помещики», рядом с героико-романтическим «Тарасом Бульбой». Вторая же часть соединяет фантастические приключения бурсака и ведьмы, «Вий», с историей двух провинциальных тунеядцев и сутяжников, «Повесть о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

«...Так соединили, не так соединили, какая разница?..»

Полагаю, что для невнимательного читателя – никакой. Но в этом случае, быть может, от читателя ускользнет заветная, существенная мысль автора, а следить за мыслью великого человека и сам Пушкин считал интереснейшим занятием!

Что считать в литературе интересным, что считать занимательным?

Набивший руку сочинитель, знающий современный рыночный спрос, без труда даст читателю возможность в меру вывалиться в грязь, пощекочет его нервы, поиграет на самых низменных инстинктах, даст насладиться откровенной или полуоткровенной похабщиной, щегольнет жаргоном, блеснет остроумием и приоткроет якобы одному ему известную связь власти с преступным миром... и т.п.

Какими вопросами заманивают читателя сочинители занимательной литературы?

«Кто убил?», «Кто украл?», «Кто предал?», «Где спрятал?» и т.д.

Режиссер Жалаквичус рассказал как-то, как к нему после демонстрации фильма «Никто не хотел умирать» в посольстве США в Москве подошла жена посла. Дитя образцовой нынче для нас американской цивилизации поблагодарила режиссера за доставленное огромное удовольствие, поздравила с успехом, а в конце доверительно поинтересовалась: «Извините, но я все-таки не поняла, где же было золото?» Ей и в голову не могло прийти, что так много и ловко можно пролить крови по какому-то другому поводу.

Чем безоглядней мы будем участвовать в процессе «переоценки ценностей», тем скорее и наши мозги так же замылятся и приобретут простодушную округлость.

Не для таких мозгов вопросы, заботящие автора даже в такой искрящейся и веселой истории, как «Сорочинская ярмарка».

Почему же все заканчивается не сладким поцелуем соединившихся возлюбленных, а грустным и глубоким вопросом, обращенным автором к самому себе, а может быть, и к нам?

Ревнитель строгих правил в литературе, В.В. Набоков, и к классикам относившийся без снисхождения, ужасался, представляя себе Гоголя, «строчащего на малороссийском том за

томом «Диканьки» и «Миргороды» о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреев и лихих казаках».

Напрасно самолюбивый мэтр спешит махом перечеркнуть едва ли не половину написанного Гоголем.

Нет, не было до Гоголя «фольклорных повестей и романтических историй», заканчивающихся так, как заканчивается «Сорочинская ярмарка», и начинающихся так, как «Майская ночь», где радость и уныние об руку являются на сцену.

Читая его «Диканьки» и «Миргороды», необыкновенно интересно следить, как последовательно, именно с первого шага идет гений к вопросам, на которые будет искать ответ всю жизнь: «Русь! Чего же ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами!»

В мучительных и долгих поисках ответов, от которых зависела не только его судьба, Гоголь открывал сокровенные связи, что сплетали жизнь в нашем, именно нашем, отечестве в узор пленительный и таинственный, однако способный, чуть измени зрение, обернуться картиной отталкивающей... Не так ли несравненной красоты панночка вдруг обращается в кровожадную ведьму в «Вие»?

С чего начинается «Вий»?

Гремят колокола над Киевом, звенят у ворот Братского монастыря, соединяя небо и землю и призывая заодно бурсаков в классы...

Как заканчивается «Вий»?

Звонарь, онемевший от выпитого на поминках по сгинувшему от нечистой силы Хоме Бруту, бежит спать «в самое отдаленное место в бурьяне, причем не позабыл, по прежней привычке своей, ухватить старую подошву от сапога, валявшуюся на лавке».

Повесть о летающих в полночной церкви черных гробах, о ночных прогулках на спине ведьмы над земными безднами начинается в стихии самой что ни на есть реалистической, бытовой, преподнесенной чуть иронически, и заканчивается возвращением в эту же стихию, где последнюю точку назначено исполнить аж старой подошве.

«Славный был человек Хома!» – только что возглашал на поминках знакомый нам звонарь.

«Славная бекеша у Ивана Ивановича!» – возглашает автор в первой же строке, приглашая нас к знакомству с героем новой повести, поставленной в сборнике в затылок «Вию».

Совпадение?

А то, что обе вещи заканчиваются в церкви, тоже совпадение?

В «Вие» нечисть, с подсказки чудовища с веками, опущенными до земли, набросившись на несчастного Хому Брута, читающего в церкви у гроба панночки заупокойную, не расслышала утреннего крика петуха, не успела выскочить вон... «Так навеки и осталась церковь с завязнувшими в дверях и окнах чудовищами, обросла лесом... и никто не найдет к ней дорогу».

А вот конец «Повести о том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем».

Финал. Автор едет под унылым проливным дождем через Миргород.

«День был тогда праздничный; я приказал рогожную кибитку свою остановить перед церковью и вошел тихо... Церковь была пуста... Я отошел в притвор и оборотился к одному почтенному старику с поседевшими волосами: позвольте узнать, жив ли Иван Никифорович?..

В это время лампада вспыхнула живей перед иконою, и свет прямо ударился в лицо моего соседа... Это был сам Иван Никифорович!»

Здесь же, чуть подальше, оказался и другой герой повести, Иван Иванович; оба бывших приятеля, замершие навеки в нечистой, мелкой, позорящей человеческое звание тязбе.

Надеюсь, даже изначально настроенный на несогласие читатель принужден будет согласиться, что не может быть случайностью и такая рифма, как замершая в церкви нечисть в одной повести и в церкви же обнаруженные автором замершие два уroda.

Именно читая вслед за «Виём» повесть о ссоре и более гнусной, чем смешной, тязбе двух почтенных жителей «Миргорода», обращаешь внимание на то, как часто в этой по всем статьям обыденнейшей, не претендующей на подглядывание за иными мирами истории поминаются «черт» и «сатана».

Можно привести примеры, но читатель и сам при желании найдет их в изобилии.

Можно ли хотя бы на основании предъявленных наблюдений сказать о том, что обе повести стоят рядом не случайно?

И та и другая вещь, как мне кажется, – о НЕЧИСТИ.

Если «Вий» сообщает о присутствии в мире чего-то таинственного, необъяснимого и враждебного людям, то вторая повесть обращает нас к нечисти, поселившейся в нас самих.

Против нечистой силы, обитающей и действующей вовне, есть надежные средства, даже против ведьмы, и автор с готовностью их рекомендует: «Нужно только, перекрестившись, плюнуть на самый хвост ей, то и ничего не будет... Ведь у нас в Киеве все бабы, которые сидят на базаре, – все ведьмы».

А если без шуток.

Есть ли средство против нечисти, разъедающей наши души, сводящей наши страсти и желания к обладанию ношеной бекешей, неисправным ружьем... или грудой золота, есть ли средства от этой порчи?

Нет, тут не помогут ни заклятья, ни плевки.

Остается лишь тяжко вздохнуть, запахнуть мало спасающей от бесконечного дождя рогожей и горестно вымолвить:

«Скучно на этом свете, господа?»

Прощай, Миргород!

Мы, кажется, поняли, почему автор выбрал именно тебя ареной для представления картин забавных, загадочных и героических.

Миргород – не географическая точка, не населенный пункт, а мир, МИР... Мир, где любовь друг к другу наполняет смыслом жизнь, казалось бы, самых ничемных существователей, где любовь к отечеству пестрое собрание людей превращает в народ, и каждому человеку придает неодолимую силу.

Это мир, где нечистая сила способна овладеть и жизнью и душой, если поддаться ей, если не распознать ее, способную явиться то в обличье красавицы, чьи уста – «рубины, готовые усмехнуться», то в обличье гусака, шипящего и самодовольного, навеки в нас поселившегося...

Прощай, Миргород!

«Печальная застава с будкою, в которой инвалид чинил серые доспехи свои, медленно пронеслась мимо».

Медленно... пронеслась!.. мимо...

Что за наслаждение – «внимательно смотреть в ноты»!

ПАМЯТНИК ГОГОЛЮ...

Я почитаюсь загадкой для всех,
никто не разгадает меня совершенно.

Гоголь

Казалось, большего кавардака, неразберихи, суеты, бестолковщины и вздора не случилось в Москве за всю долгую и пеструю ее историю: Москва после двадцати девяти лет подготовки открывала наконец памятник великому русскому писателю Николаю Васильевичу Гоголю.

Мысль о том, чтобы соорудить памятник Гоголю в Москве, родилась сразу же в день торжественного открытия на Тверском бульваре памятника Александру Сергеевичу Пушкину. Это был счастливый день народного торжества, единения, взлет национального самосознания – такое хотелось пережить еще раз, и как можно скорее.

Тут же объявили *всенародную* подписку на памятник Гоголю и собрали четыре тысячи рублей.

Да вот беда, деньги на *всенародный* монумент не хлынули рекой, даже не побежали ручьем, их пришлось выдавливать по капле. Если «монумент» в переводе с латинского значит – «напоминание», то сбор денег «на Гоголя» напоминал извлечение Петром Ивановичем Бобчинским денег из прорехи в правом кармане Петра Ивановича Добчинского. За последовавшие за тем десять тысяч дней собрали еще сто тысяч рублей, почти по червонцу в день. Не густо, если учесть многолюдство читателей Гоголя и безмерную продолжительность срока, ушедшего на сборы. Правда, семья промышленников Демидовых пожаловала меди 110 пудов, по двадцать два рубля за пуд, вклад существенный.

Из глубины 1880 года казалось, что времени достаточно, чтобы в 1902 году пятидесятилетие со дня кончины писателя отметить открытием достойного монумента. Но дело двинулось таким неумышленным образом, словно вожжи всего предприятия отдали в руки Селифана, только что обласканного *тонкими* друзьями из маниловской дворни...

Едва-едва успели к столетию со дня рождения, которое с неотвратимостью наступило в 1909 году.

Ну как не восхититься ни с чем не сравнимой российской неспешностью!

Обществу любителей российской словесности, тому самому Обществу, где на публичном заседании, посвященном открытию памятника Пушкину, произнес свою речь-завещание Достоевский, давший определение *всечеловеческой отзывчивости* русской души, понадобилось всего лишь десять (!) лет, чтобы учредить Комитет по сооружению памятника.

Прошло после этого радостного и долгожданного события всего-навсего три года, и государь сподобился своей монаршей милостью повелеть Комитету «открыть действия». Воля государя — свята, слово самодержца — закон. Однако, будто для какой-то исторической симметрии, опять же ровно через три года после монаршего повеления Комитет собрался на свое первое заседание, то есть *открыл действия*.

Наконец-то была оглашена и фамилия члена Комитета, к которому следовало обращаться по вопросам, касающимся до сооружения задуманного памятника.

Фамилия члена Комитета была — Нос!

А.Е. Нос.

«— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?»

Нос, то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!»

Вот, вот, иногда только ссылками на шутки черта и можно объяснить все происходившее с самим Николаем Васильевичем Гоголем и вокруг него.

Промелькнул двадцать один год со дня рождения счастливой идеи, и как раз накануне пятидесятилетия со дня смерти Гоголя Комитет, украшением которого был, безусловно, господин Нос (где только отыскали?), объявил «условия на составление памятника».

Без проволочек, всего лишь за шесть лет (проницательные критики находят в этой кратности цифре «три» бездну смысла!) был проведен конкурс. Поданные скульпторами известными, именитыми, авторитетными проекты были отмечены почетными местами, наградами, премиями и... к исполнению не приняты.

Неукротимо приближалось 100-летие со дня рождения, а вместе с ним и необходимость дать отчет в потраченных времени и деньгах.

Тут же родилась новая счастливая идея — поручить памятник только одному скульптору, а конкурс — ну, как бы конкурс — сделать из мнений участников Комитета. А что?..

«... Русский человек в решительные минуты найдет, что сделать, не вдаваясь в дальние рассуждения... поворотивши направо, на первую перекрестную дорогу, прикрикнул он: “Эй, вы, други почтенные!” и пустился вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога».

Если Селифан таким традиционно-национальным способом привезет Чичикова к Коробочке, а Коробочка-то и приведет предприимчивого героя к краху, то в нашей истории дело пошло вовсе фантастической дорогой, конца которой и по сей день не видно, поскольку история с памятником Николаю Васильевичу Гоголю в Москве не может считаться оконченной, впрочем, как и в Санкт-Петербурге, где зародышу памятника скоро исполнится полвека, и вся его дальнейшая жизнь как бы еще впереди.

Итак, для важности и ответственности каждого члена Комитета наделили правом «вето», чтобы будущий проект, если и будет принят, так только единогласно. Да как же быть ему не принятым, если неизбежное единодушие было гарантировано надвигающейся датой, отступить за которую некуда?!

Выбор Николая Андреевича Андреева для исполнения памятника Гоголю был в высшем смысле провидческим: именно из рук этого скульптора выйдут и будут как бы руками этого скульптора соединены два самых фантастических и до нынешних времен до конца не разгаданных героя нашей отечественной истории — Гоголь и Ленин.

Вершиной творчества Николая Андреевича Андреева будет признан памятник основоположнику фантастического реализма, Гоголю, и *лениниана*, серия скульптурных изображений человека, сумевшего самые, казалось бы, невероятные свои фантазии обратить в плоть и кровь.

Гоголь, не обидевший в жизни мухи, будет сидеть на постаменте сгорбленный то ли от боли, то ли от стыда. Владимир же Ильич в исполнении Н.А. Андреева с натуры во множестве ракурсов предстанет перед зрителями благостно задумчивым и умудренно мечтательным.

Собственно, Н.А. Андрееву было рукой подать и до самого Гоголя, и даже до Пушкина. Работая над гоголевским портретом, он встречался с младшей сестрой Николая Васильевича,

Ольгой Васильевной и, по преданию, изобразил ее на барельефе, опоясывающем постамент, в виде Анны Андреевны Сквозник-Дмухановской. Только этим преданием и можно объяснить, почему на барельефе Анна Андреевна вовсе не молодящаяся модница, а особа пожилая и строгая. А в апреле 1906 года в обсуждении модели будущего памятника участвовал сын Пушкина...

К своим тридцати годам Андреев был уже скульптором известным, даже баллотировавшимся по рекомендации Репина и Опекушина, автора памятника Пушкину на Тверском бульваре, в действительные члены Академии художеств. К этому времени уже и бюст Гоголя работы Андреева украшал железнодорожный вокзал в Миргороде, однако всезнающая пресса решительно возражала против поручения памятника «малоизвестному скульптору».

Памятник, предъявленный Андреевым Комитету в законченном виде, как и следовало ожидать, был одобрен единодушно, поскольку возражение хотя бы одного из членов могло обернуться катастрофой для всего Комитета.

А что публика?

Одни сочли памятник оскорблением и писателя, и публики, другие столь же убежденно объявили сгорбленную, утонувшую в кресле, закутанную в шинель и обращенную носом к земле фигуру, поднятую на высоком прямоугольном постаменте, — шедевром.

Андреев изваял фигуру человека, если не сломленного, то придавленного, согнутого незримой для нас тяжестью.

Это, несомненно, Гоголь, фигура трагическая, не спешащая посвятить нас в свою заботу, в свою печаль, а потому мы почти не видим лицо, опрокинувшееся вниз; он то ли прячется от нас, то ли всматривается в *не для всех доступный кладезь* своей души.

Да, одни находили памятник замечательным, другие отвратительным.

Софья Андреевна Толстая была на торжествах и на следующий день записала в дневнике: «Памятник Гоголю — отвратительный».

А вот Лев Николаевич Толстой, увидев памятник впервые лишь осенью, по свидетельству А.Б. Гольденвейзера, сказал: «Мне нравится, очень значительное выражение лица».

Нет согласия, нет единомыслия, как было с памятником Пушкину, да и могло ли быть иначе, речь-то идет о Гоголе! О Гоголе, которого читать необычайно интересно и легко до радости, но так трудно проникнуть и понять его загадочную душу, спрятанную за множеством выставленных им самим завес...

В попытках угадать и рассчитать движения этой души исписаны сотни, тысячи страниц, превышающие числом все им самим написанное, но какие тут могут быть отгадки, если под одной оболочкой догадал Бог соединиться несоединимому.

Кто загнал Гоголя в пост и молитву, в самоуничужение, в страх жизни и в страх смерти?

Кто подталкивал его всю жизнь объясняться с публикой, оправдываться, просить быть верно понятым?

Кто от имени Гоголя, чьи сочинения вызывали восторг и поклонение современников, давал несбыточные обещания, раздавал векселя, суля превзойти все прежде сделанное и возвыситься до тех вершин, где творческая сила художественного гения сравнивается с силой чуть ли не самого Творца небесного?..

Кто отказал гениальному Гоголю в праве быть свободным, верить лишь своему внутреннему непревзойденной тонкости слуху, верить своему и только своему проникающему и вещи и души глазу и не поверять каждый свой шаг и каждое свое слово меркой рассудочного практицизма?..

Кто непрестанно сыпал яд сомнений в чашу жизни, из которой пил себе на погибель Гоголь, Николай Васильевич?..

...Так как же можно одним портретом, одной фигурой соединить Моцарта и Сальери, сходных лишь париками, чулками да камзолами? Именно эти два пушкинских образа, два характера, два способа жить и сознавать искусство соединились в одной оболочке под именем

«ГОГОЛЬ».

Именно так, без имени, без отчества, без дат и титулов обозначен вдавленный в кресло, погребенный в себя человек, кутающийся в просторную дорожную шинель, прячущийся от мира, где у него не было ни дома, ни семьи, ни любви...

Пожалуй, так и есть «Моцарт» и «Сальери».

Это же «Сальери», трудолюбивый, начитанный, с юности воспаленный тщеславием, дотошно изучал примеры и образцы, а после в тишине и тайне изготовил «Ганса Кюхельгартена», поэму громоздкую и выспренную, местами напоминающую перевод с чужого языка. Впрочем, сходство

это автор, надо думать, видел, стремился к нему и почитал достоинством, поскольку с первого шага намеревался войти в мировую поэзию, где царили в ту пору немецкие романтики. Метил на мировую арену, а попал на задний двор русской литературы, уже обретшей свое достоинство и самосознание. Заслуженно получил щелчки, из снисхождения к провинциалу вполне щадящие.

Это «Сальери» в трагическом осознании неудачи послал слугу скупить непроданные экземпляры поэмы и предал их огню...

Два факела, два костра, словно задуманные кем-то для симметрии, испепеляющие первое и последнее творение Гоголя, осветят его художническую судьбу с двух сторон.

«Вкусив восторг и слезы вдохновенья,
Я жег мой труд и холодно смотрел,
Как мысль моя и звуки, мной рождены,
Пылая, с легким дымом исчезали!..»

Это «Моцарт» отобрал у растерянного «Сальери» перо и, дав волю своему воображению, разгоняя припадки тоски, стал выдумывать смешные лица и характеры, ставить их в смешные положения, вовсе не заботясь о том, зачем это и для чего и кому от этого выйдет какая польза.

В одночасье, сидя в промозглом Петербурге, никому не нужный и не интересный провинциал написал блестящие всеми красками благоуханной Украины веселые, загадочные и таинственные истории, названные с подсказки нового питерского знакомого «Вечерами на хуторе близ Диканьки». Написал первую часть, а с разбегу и вторую, и стал знаменит!

Это «Моцарт», обоженный изморозью петербургских камней, напишет «Невский проспект», «Портрет», «Записки сумасшедшего», открывающие новую эпоху в отечественной литературе, а пекущийся о понятности и пользе «Сальери» оснастит «Арабески» статьями, где будет просить снисхождения за молодость и незрелость и даже немножко жгульничает, «омолаживая» даты некоторых сочинений.

Дальше так и пойдет. «Моцарт» напишет бессмертного «Ревизора», а обеспокоенный тем, чтобы все было верно и в пользу автора понято, «Сальери» станет писать «Театральный разъезд», не успокоится и напишет еще и «Развязку “Ревизора”», и даже в двух редакциях. Все это из опасения, чтобы моцартовский смех, смех свободного человека, не был принят за клевету, за насмешку и не повредил во мнениях, с которыми необходимо считаться.

Каков Сальери!?! Вот паспорт, выданный ему самим Белинским: «Человек действительно с талантом, а главное — с замечательным умом, способностью глубоко чувствовать, понимать, и ценить искусство».

Это «Сальери» склонял «Моцарта» к *трудам, усердию и самоотвержению* и вовсе не бесплодно заставлял без конца возвращаться к своим сочинениям, переписывая и «Тараса Бульбу», и «Портрет», и «Ревизора», казалось бы, уже снискавших автору славу.

«Моцарт» создаст «Мертвые души», ставшие величайшим праздником отечественной словесности, славой нашей литературы, а опьяненный успехом хлопотливый «Сальери» пообещает блестящее и несбыточное продолжение, для чего немедленно возьмется за воспитание и публики, и автора... В иступленном стремлении к пользе явятся миру «Выбранные места...» из выдуманной переписки с несуществующими друзьями. И вместо обещанного шедевра появится книга болезненная, чуждая «Моцарту» духом несвободы, приторным слогом, назойливой нраво-учительностью и трагическим отсутствием того спасительного юмора, которым были полны сочинения, питающие читателя живительной силой и по сей день.

Книга, призванная пояснить деятельность автора и пользу от его труда, породила лишь вопросы, обиды и недоумения, потребовавшие новых объяснений в «авторской исповеди», так и не увидевшей свет при жизни автора, хотя и содержащей на немногих своих страницах двадцать шесть упоминаний слова *польза*.

Разумеется, «Моцарт» и «Сальери» — не больше чем персонажи трагической коллизии, метафорическое обозначение двух начал, в разной мере, но непременно сосуществующих в творческой натуре. Когда гармония этих двух начал нарушается, происходит трагическое самоубийство Гоголя, бунт Льва Толстого, или творческий кризис Зощенко... Непосредственная творческая стихия, повелительно-безотчетная, вдруг ощущает свое бессилие перед рефлектирующим сознанием, испытывающим неодолимое желание, потребность осмыслить не столько процесс творчества, сколько судьбу своих созданий, их место и роль в жизни, окружающей художника, их пользу...

И вот непосредственная творческая сила, та, что сродни любовному смятению, та, что не ищет себе ни оправдания, ни объяснения, вдруг цепенеет, замирает перед судом рассудка, здравого смысла и... умирает, угасает в рассуждениях практического ряда, прямо как у Подколесина...

«Однако ж что ни говори, а как-то даже делается страшно, как хорошенько подумаешь об этом...», и уже не вкусишь блаженство, какое точно бывает только разве в сказках...

На барельефе, опоясывающем постамент, герои гоголевских сочинений.

Может показаться, что Гоголь опустил голову вниз как раз для того, чтобы самому вновь разглядеть свои создания, укрепиться или усомниться в своих симпатиях и отвращении.

Отношение Гоголя к своим героям, к чертам, в них воплощенным, не раз публично объявленное, чрезвычайно интересно в своих глубинных, не на поверхности лежащих мотивах.

Сколько бы ни радовались обличению *существователей*, ни одно желание которых «не перелетает за частокол, окружающий небольшой дворик», и чья жизнь движется по заведенному маршруту от еды ко сну и от сна к еде, нежность и ласковость, с которой говорится о добродушных, беззлобных, чистосердечных Пульхерии Ивановне и Афанасии Ивановиче, искренна и несомненна. «Неизъяснимая прелесть» низменной буколической жизни обнаруживает себя в сравнении с той жизнью, что пышно буйствует как раз за частоколом, где «страсти, желания и беспокойные порождения злого духа» возмущают мир. За частоколом — украденный и вывезенный обманом лес, за частоколом шляется где-то беспутный племянник, за частоколом воруют, блудят, хищничают.

Горькая ирония — вовсе не обличение; душевное сострадание перед лицом рушащейся жизни, рвущихся человеческих привязанностей — не сатира; скорбное сознание бессилия благостыни и добродушия удерживают от насмешки и карикатуры.

Но если симпатия к *старосветской* жизни и сострадательная печаль, сменяющая ироническую улыбку во взгляде на миргородских обывателей, объяснимы мирным характером этой жизни и беззлобностью нрава главных героев, то откуда же любование *лыцарями* Сечи Запорожской, запросто забивающими насмерть провинившегося товарища или снимающими кожу с живых пленников? Откуда, из каких душевных запасов взяты торжественные звуки и праздничные краски для песен в честь сыноубийцы Бульбы и славных его казаков, поддевающих младенцев концом копья и закидывающих в окна полыхающих домов прямо в простертые руки заживо горящих матерей?

«“Это вам, вражьи ляхи, поминки по Остапе!” — приговаривал только Тарас. И поминки по Остапе справлял он в каждом селении...”»

Почему симпатии автора на стороне героев, чьи поступки «побольше, чем обыкновенное разбойничество»?

Надо думать, не сами по себе эти герои и эта жизнь, лишенная сколько-нибудь развитого самосознания и взгляда на себя со стороны, не душевная узость и неспособность к взрослому размышлению делают привлекательными для автора и безобидных старичков с глухого подворья, и мечущихся от Варшавы до Константинополя неугомонных *лыцарей*, вершащих дела, превосходящие обыкновенное разбойничество. Не поворачивается душа увидеть обличение и в живописнейшем портрете Ноздрева с непропорционально ободранными бакенбардами, бесконечно смешны воры и взяточники вместе со своим предводителем, который если и брал с иного, то, право, без всякой ненависти, смешон и фитюлька Хлестаков, которого можно принять за *персону* только со страха великого да от убеждения, что дым с шапок на головах воров виден аж в Петербурге...

ВЛАСТЬ и БОГАТСТВО, два главных искусителя, два главных извратителя человеческих душ, — ваше царство во всей своей разъявляющей бесчеловечности приковало к себе взгляд автора. Но эти-то смешны, а те даже страшны, не им простится, простится не ведающим, что творят.

Иное дело власть — не та, что дана вместе с атаманской булавой на казачьем круге, и богатство — не то, что служит минутным знаком доблести и бесстрашия...

К власти, служащей для возвышения над другими, к богатству, ставшему целью жизни, не стремятся, не ведая той цены и платы, которую приходится отдать за вожденное благо.

Власть всегда идет об руку с унижением и насилием.

А богатство и приобретательство лишь для безукоризненного Констанжогло не сопряжены с преступлением.

Чичиков, поэт и подвижник приобретательства и накопительства, стяжательства и обирательства, не верит ни минуты в возможность честно разбогатеть. Скорее всего он прав.

«Позвольте спросить насчет одного обстоятельства: скажите, ведь это, разумеется, вначале приобретено не без греха?» — поинтересуется Чичиков, изумленный достатком и процветанием Костанжогло.

«Самым безукоризненным путем и самыми справедливыми средствами», — скажет Костанжогло, более похожий на агитплакат, чем на живого помещика.

Гоголь еще в давнюю пору, когда власть над крепостными передавалась по наследству и не подлежала сомнению, уже чуял тлетворный запах беспощадной и бесконтрольной власти денег, чье царство будет подольше рабовладения, и здесь-то его печаль и сознание бессилия приобретают по-настоящему трагические тона.

«Дело в том, что пришло нам спасать нашу землю; что гибнет уже земля наша не от нашествия двадцати иноплемennых языков, а от нас самих, что уже мимо законного управления образовалось другое правление, гораздо сильнее всякого законного. Установились свои условия, все оценено, и цены даже приведены во всеобщую известность».

Мы знаем эти *условия*, когда во всеобщую известность приведены цены на место в парламенте, то есть в Думе, когда во всеобщую известность приведены цены на убийство, на подкуп, на шантаж...

А еще он заметил «то мелкое сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем, затем чтобы жить на счет бедных».

С той же прямоотой, как и о старосветских помещиках, говорит Гоголь о герое, занявшем его воображение так надолго. «Кто же он? стало быть, подлец? Почему же подлец, зачем же быть так строгу к другим? Теперь у нас подлецов не бывает... Справедливее всего назвать его: хозяин, приобретатель».

Слово сказано!

«Приобретение всего; из-за него позавелись дела, которым свет дает название не очень чистых».

«Больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете... Копейка не выдаст... Все сделаешь и все пробьешь на свете копейкой...» Этот завет отца поможет Павлуше Чичикову стать скотиной Чичиковым, определит идеологию, психологию и жизненное поведение огромного числа людей в надвигающуюся эпоху.

Дворовый человек Плюшкина, Попов, откроет в отечественных летописях бесконечную череду лиц, *проворовавшихся благороднейшим образом*.

Николай Васильевич Гоголь предвосхитит поразительные гримасы наступающей эпохи: «Обокрадет, обворует казну, да еще, каналья, награды просит! Нельзя, говорит, без поощрения, трудился».

Вот она, эпоха *кипящей меркантильности*, вот он, век, обретающий *физиономию банкира*.

Только и осталось, что крикнуть во всеуслышание: «Пусть же, если входит разврат в мир, так не через мои руки!»

Надвинувшаяся и набравшая силу эпоха в утверждение своих прав на все лучшее, что дала жизнь, воздвигла своему обличителю памятник.

Несусветица, вздор, торжественное головоуятие, помпезная глупость, сопутствовавшие открытию памятника, служили как бы живой иллюстрацией и подтверждением тому, что взгляд художника на свое не постижимое здравым умом отечество был верным и, к сожалению, дальноразумным. Не то что десятки лет, но и целое столетие мало что поменяло в нравах, повадках и житейских приемах соотечественников.

Если дом Собакевича, как и вещи в доме, казалось, кричали: «И я Собакевич!» благодаря своему сходству с характером и статью хозяина, то и подробности тридцатилетней истории сооружения, водружения, открытия, а затем и последующего «закрытия» памятника Гоголю каждой своей подробностью кричали: «И я из Гоголя! И мы из Гоголя!»

Первоначально памятнику было отведено почетное место на самой Арбатской площади, знаменитой, многолюдной и просторной. Однако поставлен монумент был в начале Пречистенского бульвара, как бы и на площади, но и в сторонке. Кто же одолел, у кого поднялась рука ихватило сил и власти потеснить самого Гоголя? Да Селифан и потеснил, вернее — «селифаны». Извозчичья биржа. Вот оно, увиденное, названное и предсказанное на годы *управление, гораздо сильнее всякого законного*.

Автору «птицы тройки», бесприютному путешественнику, проведенному в дороге чуть ли не полжизни, именно «селифанами» было указано его место, где стоять, вернее, сидеть. И все

равно место оказалось не окончательным, может, и здесь взяла верх неведомая сила, всю жизнь перемещавшая бездомного из края в край?

Когда новые «селифаны», всевластные и безотчетные, воздвиглись на облучке, стали править Русью и «пустились вскачь, мало помышляя о том, куда приведет взятая дорога», видно, генеральному «селифану», ежедневно проезжавшему через Арбатскую площадь на свой кремлевский облучок, мозолил глаза и заставлял думать о постороннем сгорбленный человек, не пожелавший ни разу встать перед лицом отца народов. И монумент, напоминание о Гоголе, угнетенном великой мыслью и великой скорбью, вовсе уберут с глаз подальше, хотя и недалеко, во двор дома недоброй памяти графа А.П. Толстого, где в муках и бреду прекратилась жизнь великого писателя.

...Но пока на дворе лишь 1909 год, Россия, не глядясь в зеркало, примеряет новомодный *столыпинский галстук*; Москва еще не знает ни своей судьбы, ни судьбы монумента и потому спешит явить во всей широте и многообразии нравы, вкус и причуды ума, вызывавшие смех и содрогание души автора «Мертвых душ».

Гоголевский юбилей широковещательно отмечали рестораны, соревнуясь в составлении меню, пестревших яствами со стола Коробочки, Собакевича, городничего и, конечно, Пульхерии Ивановны и Афанасия Ивановича. Скородумки, шанишки, пряглы, *припеки со сняточками*, ну, разумеется, и бараний бок с кашей, и пудря с молоком, сами того не ожидая, оказались возведенными в яства сакральные, в средство причащений к великому художнику и страдальцу.

Профиль Гоголя, узнаваемый легко даже в самых скверных и неряшливых исполнениях, запестрел черт знает на чем, добро бы только на школьных тетрадках и календарях, но и аптечные товары украсились острым силуэтом. И карамельки были с «гоголем», и шоколадки были с «гоголем», а уж печенье «Гоголь. С. Сиу и К^с» трудно превзойти и нынешним пошлякам.

Готовились все, в газетах можно было прочесть приватные приглашения на официальный праздник: «Окна на торжество Гоголя сдаются, открытый вид. Арбатская площадь, трактир Григорьевой...»

Вот оно — торжество Гоголя!

Поставив изображения утилитарные выше эстетических, Собакевич, как известно, двигал колонны на фасаде своего жилища; бессмертные его наследники, опять же для удобства, поставив интересы практические выше исторических, сдвинули дату открытия монумента с конца марта, где размещается день рождения героя, в конец апреля, где больше надежд на благоприятную для публики погоду.

Но черт, надо думать, не оставил своими заботами давнего своего врага; накануне торжества, 25 апреля, что для Москвы редкость невиданная, зима бросила в город все свои нерастроченные запасы. Снега навалило пропасть, тяжелого, сырого, улицы покрылись снежной жижей, в воздухе повисла промозглая сырость.

А может быть, всю эту дрянь принесло на торжества из Петербурга, так и не дождавшегося своего памятника лучшему из его портретистов?..

К открытию монумента готовились основательно, вокруг памятника, еще покрытого материей, на живую нитку были выстроены трибуны для участников торжеств. Трибуны расположили в виде буквы «П», заняв чуть ли не все свободное пространство на подходах. Несколько рядов скамеек были воздвигнуты народом не только бойким, но и вороватым, а потому дощатое сооружение было подвергнуто накануне праздника испытанию общественной критики.

Разнесся слух, что трибуны хлипкие и под тяжестью гостей непременно рухнут.

Однако сам городской голова Гучков, убежденный в умеренной вороватости подрядчиков, лично требовал заполнить трибуны публикой.

И хотя *голова*, по Гоголю, в мирской сходке всегда должен брать верх, но Москва не Диканька, и верх здесь берут частенько пронырливые и крикливые. Да и слишком свежи были еще воспоминания о раздавленных на Ходынском поле участниках другого праздника, так что страх был велик.

В последний час, в последнюю минуту правители Москвы родили решение, которому мог бы позавидовать и сам Сквозник-Дмухановский. Недаром же Гоголь уверял: «Я никогда ничего не создавал в воображении и не имел этого свойства. У меня только то и выходило хорошо, что взято было мной из действительности, из данных, мне известных».

Ну разве можно выдумать из головы историческое решение московских правителей: «Трибуны укрепить — публику на трибуны не пускать!»

Да, такая действительность любого выдумщика изумит, хотя бы и самого Николая Васильевича!

Помните у него историю со скамейками для публики?

Это когда Нос пустился фланировать по городу, а публика собиралась на него смотреть: «Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами... нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя». Прекрасные скамьи. Прочные. Умеренная цена.

И это *фантастический реализм*.

Нет, «трибуны укрепить — публику не пускать» — вот это наш, российский фантастический натурализм.

Праздник начался ранним утром молебствием в храме Христа Спасителя на Волхонке, внизу Пречистенского бульвара, а двадцатитысячная толпа, жмущаяся около пустых трибун, охраняемых городскими, в промозглом холоде ждала несколько часов, пока служба закончится и молящиеся с клиром поднимутся к Арбатской площади. Вместе со взрослой публикой на деревянной эстраде три часа томился и мерз детский хор в три тысячи голосов, прежде чем возгласил сочиненную к случаю сладенькую кантату.

Венки, возлагаемые к монументу во множестве, были несколько помяты, поскольку доставить их по назначению сквозь стиснутую толпу было не так-то просто...

Где-то на площади затерялся забытый всеми, никому не нужный депутат из Сорочинцев...

Праздник национального единения не вышел, на новую вершину самосознания взойти не удалось. Ярких речей, как при открытии памятника Пушкину, не прозвучало, но и неяркие речи расслышать можно было лишь с великим трудом, даже стоя рядом...

Предупреждая тех, *которые пожелали бы как следует сыграть «Ревизора»*, Гоголь будто бы впрок описал и тех, кто разыграл представление с открытием ему памятника: «Все они заняты хлопотливо, суетливо, даже жарко своим делом, как бы важнейшей задачей своей жизни. Зрителю только со стороны виден пустяк их заботы. Но сами они не шутят и уж никак не думают о том, что над ними кто-нибудь смеется».

Сдернули покрывало — Гоголь сидел, опустив голову вниз, ни на кого не глядя, ему было не до смеха... Легкий поворот головы влево и слегка накинута на левое плечо шинель, потоком спадающая на колени и дальше направо вниз, выглядывающая из-под правого борта шинели рука с открытыми пальцами, то ли выронившими перо, то ли готовыми его взять снова — все делало памятник живым...

Многим памятник не понравился, и даже резко, вскоре появятся предложения его взорвать.

В общем, что удалось, так это выдержать «гоголевский» стиль праздника; все здесь было — и комедия, и фарс, и лубок, не хватало лишь завершающей неожиданной черты, окончательной точки, замыкающей гармоническое в своей гротескной остроте торжество.

Явилась и необходимая точка.

Проницательный патриот, Василий Васильевич Розанов, в своей статье, обозревавшей только что установленный памятник, назвал свой отклик со всей определенностью: «Отчего не удался памятник Гоголю?»

Морально низвергнув едва воздвигнутый долгожданный монумент, автор с пророческой категоричностью объявил: «Памятника, по крайней мере в Москве, второго Гоголю не будет: и то, что испорчено “на этом месте и в этот год”, естественно, никогда не исправится. Это, конечно, безмерно печально».

Нет, не зря писал юный Николай Васильевич своей матушке: «Никто не разгадает меня совершенно».

Не разгадали при жизни, но и после смерти все, что связано с Гоголем, ни угадать, ни предвидеть все так же невозможно. И приключения с памятниками — тому свидетельство. И чтобы понять, вернее, отказаться что-нибудь понимать, надо коснуться, хотя бы и вскользь, необъяснимого в самих сочинениях Гоголя.

Ну почему, к примеру, майор Ковалев, отказываясь жениться на дочке штаб-офицерши Подточиной, ссылается на свою молодость — дескать, послужить надо еще лет пяток, «чтобы уже ровно было сорок два года». Смешно — «ровно сорок два»! Что за вздор, начинать новую жизнь «ровно в сорок два»? Ковалев решительно смешон. Но вот и Поприщин внесет эту дату в свои «Записки»: «Ноябрь 6... Я дворянин. Что ж, и я могу дослужиться. Мне еще сорок два года — время такое, в которое, по-настоящему, только что начинается служба». Грех смеяться над сумасшедшим, но только в безумную голову придет дожидаться до начала службы по-настоящему сорока двух лет. Но в тридцать восемь лет уже не от имени Поприщина, а от своего собственного Гоголь скажет: «Мне захотелось служить — в какой бы ни было, хотя на самой мелкой и незаметной

должности... я помышлял, как только кончу большое сочинение, вступить, по примеру других, в службу и взять место».

Можно было бы и не заметить эти сорок два года, если бы они не означали число лет, прожитых Николаем Васильевичем Гоголем.

Так кто же был примером для вступления в должность в сорок два-то года?..

Не о себе ли писал Гоголь за десять, за пятнадцать лет до поджидавшей его трагедии, когда описывал муки несчастного Чарткова, вдруг осознающего цену своего отступничества, пытающегося преодолеть пропасть, отделившую его от подлинного искусства:

«Иногда осенял его внезапный призрак великой мысли, воображение видело в темной перспективе что-то такое, что, охвативши и бросивши на полотно, можно было бы сделать необыкновенным и вместе доступным для всякой души, какая-то звезда чудесного сверкала в неясном тумане его мыслей...»

Существует множество описаний последних дней, конца Гоголя, но душа робеет, когда читаешь написанное им почти за двадцать лет до своей смерти:

«Но наказание гораздо ужаснейшее читал он на лицах своих соотечественников. Это было решительное и общее презрение. Нельзя рассказать, как страдала тщеславная душа; гордость, обманутое честолюбие, разрушившиеся надежды — все соединилось вместе...»

«Наконец сновидения сделались его жизнью, и с этого времени вся жизнь его приняла странный оборот...»

«К счастью для мира и искусства, такая напряженная и насильственная жизнь не могла долго продолжаться; размер страстей был слишком неправилен и колоссален для слабых сил ее...»

«Он заперся в свою комнату и никого не впускал, ничего не требовал...»

«Наконец жизнь его прервалась в последнем, уже безгласном, порыве страдания».

Нет, недаром же по завершении первой части, первого тома «Мертвых душ», адресуясь к читателям, автор скажет: «Все мои последние сочинения — история моей собственной души»...

Хорошо, но откуда он знает, что ждет эту душу?

Счастлив читающий Гоголя в первый раз, но и перечитывающего ждут впечатления новые; например, ни с чем не сравнимое чувство открытия, заглядывания в судьбу писателя, ему самому еще неизвестную. Вот у Тараса Бульбы вдруг мелькнуло ноздревское словечко «бабиться», а оброненная в майскую ночь под Диканькой люлька еще не предвещает ни плена, ни страшной казни, а только упрек, дескать, «не казак, да и только», а чтение Комиссаровой записки, адресованной отцу влюбленного в Ганну Левко, лишь напомнит о том, как будут читать выуженное почтмейстером Шпекиным безжалостное письмо Хлестакова...

Гофман в «Невском проспекте» схватит Шиллера за нос, пригрозит его отрезать, а мы уже знаем, что впереди хождения этого странного органа, оповещающего о вертикальной симметрии мужского тела...

А когда Башмачкин, упрятавшись от всех невзгод в новую шинель, будет вдыхать и впитывать в себя неизвестные до той поры ароматы счастливой, блестящей многоцветьем жизни, мы вспомним, что у витрины, где какая-то красавица *так ловко скинула башмак, что обнажила всю ногу*, мы уже останавливались вместе с одним *заслуженным полковником*, явившимся на Невский проспект посмотреть прогулки носа, отделившегося от коллежского асессора...

Да и в «Мертвых душах» мелькнет сольвычегодский купец, вышедший из драки с устьсыольскими купцами безусловным победителем, но без носа...

И многоголосый собачий хор, которому вместе с читателем будет изумляться Чичиков, прежде чем выступить в усадьбе Коробочки, репетировал во дворе тетушки Ивана Федоровича Шпоньки...

Эти зеркальные отблески, эти дальние рифмы не хочется считать случайными, они создают ощущение эха, отзвучия, переклички, соединяющей в единое целое гоголевские тексты. Это малая из примет, подводящих к мысли о единстве и цельности творческого наследия писателя.

Быть может, противоречивость личности Гоголя, о чем так много и разнообразно было сказано, вовсе не нарушила художественной цельности его творческого наследия, а то, что противоречило, он сам сжег.

Он сжег «Ганса Кюхельгартена», собрание своих сочинений открыл «Сорочинской ярмаркой», написанной вовсе не первой даже среди повестей «Вечеров на хуторе близ Диканьки».

Он сжег и второй том «Мертвых душ», завершив собрание сочинений ликующим гимном России, которым обрывался том первый.

Все сделано прочно, основательно, навсегда.

Но кто водил его рукой, когда в последней сцене «Сорочинской ярмарки» он написал пляску полумертвых старух? В финале первого сочинения мелькнули мертвые души. Странный финал забавной и вроде бы непритязательной истории (мы еще к нему вернемся) приобретает значимость, требует осмысления, порождает вопросы, на которые навряд ли удастся когда-нибудь найти ответ.

«Никто не разгадает меня совершенно»!

И вот так же неожиданно и так же несогласно со всем предшествовавшим повествованием завершит Гоголь и последнее свое творение, увенчав похождения афериста восторженным акафистом земле, по которой летит, унося ноги, предприимчивый подлец.

Эти странные, загадочные рифмы магнетически притягивают к себе, требуют разрешения.

На полях «Сорочинской ярмарки», в книге, принадлежащей кинорежиссеру Г.М. Козинцеву, готовившемуся к постановке фильма «Гоголиада», отчеркнута финальная сцена, где пляшут старухи, «на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы», и сделана пометка: «Ср. «Птица тройка»».

Ну конечно, эта переключка двух как бы несообразных финалов первого и последнего сочинений Гоголя знаменательна.

Вряд ли автор сам видел эту странную рифму. Скорее всего нет. Но эта рифма как бы замыкает, как бы окольцовывает все написанное Гоголем в прозе, она же наводит на мысль о том, что все тексты, лежащие между первым и последним произведениями собрания сочинений, составленного самим автором, как бы единое создание.

Скорее всего, связь между финалом «Сорочинской ярмарки» и «Мертвых душ» глубоко укоренена не только в художественный стиль, присущий Гоголю, но и в его мироощущение. И не случайно со смелостью музыканта, убежденного в том, что слух ему не изменяет, Гоголь завершает оба произведения как бы резким введением контртем:

«Звенит и плещет веселая свадьба Параски и Грицько... на краю бездны небытия...»

«Бежит разоблаченный авантюрист из города, а тройка выносит его на такой простор, в такую даль, в такое море жизни, где и тысячи мутных, нечистых ручьев, и сотни извилистых тропок, натоптанных всевозможными пронырами и мазуриками, смешавшись и растворившись в могучей и вольной стихии, становятся ничтожной, неразличимой малостью перед лицом неизбывной силы и необъятного простора».

То, что так и не удалось Гоголю сказать в несбывшемся втором и лишь мерещившемся третьем томах «Мертвых душ», он сказал музыкой финала первого тома...

Откуда же возникает, чем порождается эта неотвратимая и по здравому как бы рассуждению алогичная контртема, позволяющая совершенно неожиданно и по-новому увидеть все рассказанное?

Для русского художника, для русского писателя, мне кажется, потребность творчества всегда сопряжена с полнотой ощущения жизни, с готовностью выразить, назвать, запечатлеть ее загадочное существо. И вот, когда вещь завершена, сюжет исчерпан, с обжигающей очевидностью надвигается печаль от неисполненного замысла, от невыраженности того, важнейшего, ощущения, для раскрытия которого и понадобилось рассказать историю. Автор поднимает глаза от последней страницы и видит, как огромна, как необъятна жизнь, ускользнувшая, оставшаяся за пределами уже завершеного сочинения.

Вот здесь-то, свободный от пут и обязательств сюжета, автор волен сказать свое последнее слово до того, как читатель вынесет свой приговор.

И эта минута была предчувствована и предсказана в разгар поэмы, в самой ее середине: «И далеко еще то время, когда иным ключом грозная вьюга вдохновенья подыметя из облаченной в святой ужас и блистанье главы, и почуют в смущенном трепете величавый гром других речей...» И вот на последней странице грянул величавый гром других речей, выплеснулось одушевляющее автора чувство, с которого все, быть может, и началось и с которым еще жить до последней страницы последнего тома, — выплеснулось с блеском и полнотой, на какую способен лишь гений, разом озирающий всю громадно-несущуюся жизнь!..

Говорят, неинтересно читать, когда знаешь, чем кончится. Верно, но это только тогда, когда содержание сочинения адекватно рассказанному анекдоту. Зная загодя, что «Мертвые души» закончатся «птицей тройкой», необычайно интересно наблюдать, как сам автор, быть может, того еще и не подозревая, лишь доверяя своей гениальной интуиции, готовится к прямому диалогу с Русью.

На протяжении сравнительно небольшого повествования, каким оказался первый том «Мертвых душ», Гоголь чуть ли не сорок раз впрямую адресует к чертам и повадкам русского

человека, рассуждает и комментирует с необычайной полнотой предъявленные нравы, укоренившиеся на Руси. Ирония, восторг, горькая усмешка, недоумение, восхищение, скорбь — сколько чувств, сколько мыслей пробуждает в авторе вид своего отечества! И уж никак не ждешь, что вся пестрая мозаика мелодий, тем, мотивов, иронических и насмешливых пассажей вдруг сольется в финальном апофеозе и станет гимном России...

Существует целая традиция, поддержанная высокими авторитетами, рассмотрения творчества Гоголя как бы в противоположении вещей, созданных в разные периоды... Периоды! Да когда им случиться и сколько их надо считать, если от «Вечеров на хуторе...» до выхода первого тома «Мертвых душ» пройдет всего-то двенадцать лет! Загляните в первые письма из Петербурга, в них вы найдете «цитаты» из «Выбранных мест», а в не опубликованном при жизни раннем критическом опыте уже читаем описание Петербурга, которым восхитимся в «Невском проспекте»: «...чудный город гремит и блещет, мосты дрожат, толпы людей и теней мелькают по улицам и по палевым стенам домов-гигантов» — это написано до «Ночи перед Рождеством», до «Страшной мести», стало быть, в какой период? Мысль о внутренней художественной цельности замечательно аргументирована Андреем Синявским в его глубоком и увлекательном исследовании «В тени Гоголя»: «...в своем литературном развитии он не так развивался, как открывался новыми сторонами души, не столько наследуя себе, сколько переходя от одной книги к другой, от одного своего облика к другому». Но разве на Гоголя может быть один взгляд, одна точка зрения?

«В период создания “Диканьки” и “Тараса Бульбы” Гоголь стоял на краю опаснейшей пропасти... Он чуть было не стал автором украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй. Когда я хочу, чтобы мне приснился настоящий кошмар, я представляю себе Гоголя, строчащего на малороссийском том за томом “Диканьки” и “Миргороды” о призраках, которые бродят по берегу Днепра, водевильных евреях и лихих казаках». Это мнение В. Набокова, писателя значительного, и проницательного комментатора судьбы и творчества Гоголя.

Страхи Набокова, как мне кажется, напрасны, Гоголю не грозило стать автором «украинских фольклорных повестей и красочных романтических историй», поскольку он не был таким автором ни в «Вечерах на хуторе близ Диканьки», ни в «Миргороде», которые читал Набоков с невыносимой скукой.

Здесь есть смысл чуть отступить в сторону или приподняться, чтобы увидеть и «Вечера», и «Миргород» в широком пространстве отечественной литературы.

Десятилетие с 30-го по 40-й год — время в русской литературе фантастическое.

Это время, когда родилась наша проза!

Именно в эти десять лет Пушкиным созданы «Повести Белкина», «Дубровский», «Капитанская дочка», именно в эти десять лет Гоголем написано практически все, что создало бессмертие имени писателя, в это же время новым и блистательным словом русской литературы явился «Герой нашего времени».

Это десятилетие можно сравнить со Среднерусской возвышенностью, где зародились, взяли исток, набрали неиссякаемую силу все главные европейские реки нашего отечества, соединившие разбросанные по дебрям и степям народы в единую и весьма интересную нацию. Не так ли и литература, именно проза, всего лишь на пространстве одного десятилетия образовала столь значительную возвышенность, таящую в недрах живительную силу, способную и по сей день питать три главных направления — эпическое, гротескное и психологическое.

Энергия этих источников определяется вовсе не значительностью сообщенных нам историй о стационарных зрителях, днепровских русалках или кавказских дуэлянтах, энергия этих источников, по моему убеждению, определяется языком прозы, фундаментальным словарем русской прозы, созданной гением Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Не боясь ошибиться, можно сказать, что во всем сколько-нибудь значительном, что будет создано в отечественной литературе за последующие полтора века, в разной мере, но можно обнаружить «проценты на капитал», принятый от Пушкина, Гоголя и Лермонтова.

Это в «Старосветских помещиках» Афанасий Иванович взирает на бездыханную свою Пульхерию Ивановну, «как бы не понимая значения трупа», а мы понимаем, что из этой фразы и подобных ей фраз, как из зерен, разрастается дивное поле прозаического языка Андрея Платонова.

Без труда можно показать, что уже в первых своих прозаических опытах Гоголь явился как новое слово отечественной литературы, и то, к а к он рассказал свои истории, стоит едва ли не больше того, о ч е м он нам поведал.

Первые же слова Рудого Панька о «господах в ливреях» и о «великом лакействе», первые же слова «Сорочинской ярмарки» о горшках на возу, закутанных в сено и *скупающих своим заключением и темнотою*, возвещают появление в литературе нового языка, что, естественно, бывает реже, чем появление новых сюжетов.

Это у какого же *фольклорного писателя* найдешь такое странное, почти страшное завершение чудных, красочных, забавных и насмешливых водевильных картин, чем, в сущности, и предстает перед нами ярмарка в Сорочинцах до последних страниц? И вот страница последняя: «Все неслось. Все танцевало. Но еще страннее, еще неразгаданнее чувство пробудилось бы в глубине души при взгляде на старушек, на ветхих лицах которых веяло равнодушием могилы, толкавшихся между новым, смеющимся, живым человеком. Беспечные! даже без детской радости, без искры сочувствия, которых один хмель только, как механик своего безжизненного автомата, заставляет делать что-то подобное человеческому, они тихо покачивали охмелевшими головами, подплясывая за веселящимся народом, не обращая даже глаз на молодую чету...»

Зачем же последние аккорды этой веселой пасторали полны трагического предчувствия?

«Не так ли и радость, прекрасная и непостоянная гостья, улетает от нас, и напрасно одинокий звук думает выразить веселье? В собственном эхе слышит уже он грусть и пустыню и дико внемлет ему. Не так ли резвые друзья бурной и вольной юности, поодиночке, один за другим, теряются по свету и оставляют, наконец, одного старинного брата их? Скучно оставленному! И тяжело и грустно становится сердцу, и нечем помочь ему». Точка. Веселый водевиль окончен.

Но, может быть, это случайность, как бы оговорка? Тогда и в «Майской ночи» с первых же слов оговорка: «...парубки и девушки шумно собрались в кружок, в блеске чистого вечера, выливать свое веселье в звуки, всегда неразрывные с унынием».

И в каких это романтических повестях, нагоняющих скуку на изошренного читателя, сдирали с живых людей кожу и бросали в окна к горящим заживо матерям поддетых на копые младенцев?

Нет, оговорки были в подражательном «Кюхельгартене», а в «Диканьке» и «Миргороде» уже заговорил Гоголь, и каждый, кто захочет это услышать, услышит.

...А вот сам Николай Васильевич не может больше сказать ни слова в свое оправдание, он пригнул голову, обреченный покорно слушать.

Что же он слышит сегодня?

Может быть, с противоположной стороны бульвара, из Центрального дома журналистов до его слуха доносится речь сегодняшних газет, сегодняшних политиков и публицистов.

Каково ему, верившему в магическую, преобразующую силу искреннего, чистого, неожиданного слова, слушать полузаморскую тарбарщину, на которой привыкли выказывать себя на Руси торжествующая пошлость и глупость.

Не Пушкин ли заметил:

«Леность наша охотнее выражается на языке чужом, коего механические формы давно готовы и всем известны».

А не сегодня ли произнесены эти слова Гоголем: «Умнейшие люди завираются и набалтывают кучи глупостей, так что едва ли не должен теперь всякий истинный поэт и мыслитель думать, прежде всего, о воздержании, произнося: "Господи, положи хранение устом моим"».

Слово, язык творений Гоголя — сами по себе величайший памятник национальной культуры, ее богатство, его гротескное письмо с поразительной естественностью вбирает в себя широту и беспристрастие эпоса, точность и строгость психологического письма, остроту ироники, пафос лирики и горечь сатиры.

Русский прозаический язык Пушкина и Гоголя появился как неправильный!

Пушкин сам пишет о том, что за шестнадцать лет публикаций критики нашли у него лишь пять погрешностей в грамматике, которые он признал и с благодарностью поправил: «Прозой пишу я гораздо неправильнее, а говорю еще хуже, почти так, как пишет Гоголь».

Признание дорогого стоит. Стало быть, Гоголь пишет... как говорит Пушкин! То есть языком живым, свободным, заряженным энергией гения!?

Читатели, а главным образом писатели, ревнители правил, были не готовы к явлению Гоголя. Его обвиняли, упрекали, высмеивали, а Булгарин, Сенковский и Полевой даже по выходе первого тома «Мертвых душ» призывали автора прежде «поучиться русской грамоте, а потом уже писать».

Но упрямо хохлу было тесно в узаконенном пространстве, как юному Гвидону, не по дням растущему, — в засмоленной бочке. «Правильный язык» не охватывал и не выражал всех чувств, мыслей, наблюдений, оттенков человеческой природы и повадки, вот и приходилось искать слова особенные и ставить их в непривычные сочетания.

Рассказывая о художнике, он скажет и про себя: «Высоким внутренним инстинктом почуял он присутствие мысли в каждом предмете».

И вот — пожалуйста: «Стенным часам пришла охота бить».

Скольким неодушевленным предметам и самым неожиданным вещам Гоголь дал жизнь, оторвав их от привязи правил и норм, показал нам привычный предмет с необычайной стороны. И конечно, прав был Набоков, когда говорил, что до Пушкина и Гоголя русская проза была подслеповата.

Это какое же пристальное и насмешливое нужно иметь зрение, чтобы коротенькие и густые усы под носом у винокура показались «мышью, которую винокур поймал и держал во рту, подрывая монополию амбарного кота». А вот и «широкая труба с винокурни какой-нибудь, наскуча сидеть на крыше, задумала прогуляться...» Глядишь, и Тарас Бульба вдруг раз — и «моргнул усом».

А по каким правилам нужно составлять слова, чтобы описать невиданное, небывалое, ошеломляющее, что-то *чрезвычайно безотчетное!*

Какими словами, по каким правилам описать Невский проспект, когда он «лжет во всякое время, этот Невский проспект, но более всего тогда, когда ночь сгущенною массою наляжет на него и отделит белые и палевые стены домов, когда весь город превратится в гром и блеск, мириады карет валяются с мостов, форейторы кричат и прыгают на лошадях и когда сам демон зажигает лампы для того только, чтобы показать все в ненастоящем виде».

А как он умел описать звук, сообщая самой фразе, самим словам особую мелодичность: «...зашумели все, будто приречный тростник, тронутый в тихий час сумерек воздушными устами ветра».

И той печальной струне, что зазвенит в отуманенной голове безумного Поприщина, еще долго звенеть и отзываться эхом в сочинениях прямых и косвенных наследников Гоголя.

Да что ж выуживать, выбирать и выписывать слова и фразы, изумляясь свободе и гениальному чутью на слово, если читателя ожидает — на каждой странице! — возможность самому пережить радость от встречи с метко сказанным русским словом!

...Так почему же он, сделавший нас зрячими, открывший нам глаза на самих себя, на жизнь нас окружающую, позволивший увидеть и услышать то, что без него навсегда осталось бы для нас неизреченной тайной, — сидит, опустив голову, не поднимая глаз?

Эта зоркость далась ему великим трудом, далась напряжением души и верой в свое предназначение.

Мы можем заглянуть в «Ганса Кюхельгартена» и увидеть, как он искал, как пробивался к своему слову, не страшась быть даже смешным.

«И с невыразною тоской слезу невольную уронит...»

И «заплата малая моя» вместо «плата»...

И «трепетанье серебряных крыл, когда ими звукнет, резвясь, Израил...»

«А голос — как звуки сиринды ночной»...

— все это было, через все это надо было пройти, чтобы наконец подвыпивший Каленик «косвенными шагами пустился бежать» за «замысловатыми девушками», чтобы перецеловать их всех разом, чтобы «высокий храбрец в непобедимом страхе подскочил под потолок», «всеобщий хохот разбудил почти всю дорогу», а Павел Иванович Чичиков, предотвращая покушение на его личность, «схватил Ноздрева за обе задорные его руки».

... На пьедестал возведен великий труженик в утомлении труда и мысли, обративший загадочную энергию своего гения в живую кровь отечественной речи, попираемой и предаваемой повсеместно и ежечасно!

Здесь, посреди Москвы, сегодня он один из немногих, кто знает, что «до сих пор остаются также пустыни, грустны и безлюдны наши пространства; также бесприютно и неприветливо вокруг нас, точно как будто бы мы до сих пор не у себя дома, не под родной крышей, но где-то остановились бесприютно на проезжей дороге, и дышит нам от России не радушным, родным приемом братьев, но какой-то холодной, занесенной вьюгой почтовой станцией, где видится один ко всему равнодушный станционный смотритель с черствым ответом: «Нет лошадей!».

«Давно остывши и угаснув для всех волнений и страстей, я живу своим внутренним миром, и тревога в этом мире может нанести мне несчастье, выше всех мирских несчастий».

Эти ли строки вставали в цепкой и злой памяти «корифея всех наук», проезжавшего через Арбатскую площадь в Кремль для управления Россией?

Неуместный ли трагизм памятника, согнутая ли в вопросительный знак фигура, не желание ли поднять голову и увидеть преображенное Отечество, трудно сказать, что раздражало устроителей всеобщего счастья, повелевших памятник убрать.

Безмерная печаль Василия Васильевича Розанова и всех, кто разделял его авторитетное мнение, была утешена, трагические прогнозы не подтвердились, и ровно через сорок два года, через срок длиной в жизнь Николая Васильевича Гоголя, в начале Пречистенского бульвара, ставшего отныне Гоголевским, вознесся новый монумент...

В день рождения Гоголя был открыт памятник надломленному, скорбному, но живому, страдающему человеку, столь непохожему ни на кого на свете, каким и является в мир гений. В столетнюю годовщину со дня смерти на пьедестал взошел благообразный, узнаваемый по тетрадным обложкам, карамельным оберткам и аптечным упаковкам двойник писателя, быть может, и похожий на него, но не больше, чем призраки, населяющие его волшебные создания, похожи на живых людей. Если на цоколе андреевского памятника значилось одно слово: ГОГОЛЬ, и этим было сказано много, то на пьедестале, поддерживающем стоящего в рост молодого и милостивого человека с книжечкой в руке, золотом по черному мрамору была начертана как бы выписка из трудовой книжки о вынесении благодарности: «Великому мастеру русского слова от Советского правительства». Число. Месяц. Год.

Кто же был у нас тогда в Советском-то правительстве, в марте 1952 года? Сталин. Берия. Молотов. Каганович. Маленков Георгий Максимилианович... Какие имена!

И даже сам Гоголь на пьедестале кажется чуть-чуть смущенным той честью, на которую он от этого правительства уж никак не рассчитывал, хотя к славе был чрезвычайно ревнив.

Знаменательно то, что автора этой работы, и по сей день украшающей одну из центральных площадей преобразившейся столицы, не помнят даже те, кто предлагает этот памятник обязательно уничтожить, взорвать, например. Да, да, точно так же, как и андреевскую работу, вызывающую ярость и раздражение, призывали «взорвать и уничтожить» вовсе не пустые люди («тогда, по крайней мере, когда-нибудь, кто-нибудь воздвигнет достойное Гоголя и Москвы»), ну вот, воздвигли достойное, и опять же люди серьезные и не пустые призывают сокрушить. Времена меняются, а мы остаемся все те же, то есть сами собой;

то-то нам хочется во все времена доказать свою правоту обязательно динамитом!

А вот сам-то Николай Васильевич Гоголь, может быть, как раз и хотел бы видеть себя перед лицом потомков в полный рост, на высоком постаменте, в хорошо отглаженной шинели и с приветливым выражением на лице, а в руке томик с «Выбранными местами...»

Стоит вспомнить, как осерчал он, чуть не до ссоры, на одного из самых близких ему людей, на превосходного человека и великолепного живописца А.А. Иванова за то, что тот пустил в свет портрет Гоголя, не одобренный Николаем Васильевичем.

Современники находили много схожего с оригиналом, сам же оригинал был недоволен и некоторой растрепанностью усов, присутствием халата и отсутствием того самого выражения на лице, известного нам по его повести «Портрет», — «всегда стоял за правду».

И почему это Гоголю должен быть один памятник? И почему это столь многоликий и неуловимый в самых разных своих чертах человек вдруг оскорбляет своим бронзовым благообразием души, жаждущие всей правды разом?

Гоголю как минимум необходимо иметь три памятника, и он их обрел.

Один — андреевский, во дворе на Суворовском бульваре, второй, «от Советского правительства», на Гоголевском бульваре, и третий... ну, не то чтобы в прямом смысле памятник, но как бы напоминание о памятнике, монумент монументум, в общем, красного камня невысокий такой кукиш, красующийся вот уже сорок два года (все те же сорок два!) на одной из площадей города, обретшего в нетерпении «возрождения» имя Санкт-Петербург и утратившего улицу, носившую имя Гоголя.

Петербург — открытый для русского сознания так, как открывают новые земли, Николаем Васильевичем Гоголем, Петербург, предъявленный соотечественникам фантастической своей сущностью, Петербург, приманчивый, прельстительный, всесильный, чем отплатил ты, чем воздал своему выдающемуся первооткрывателю и великому портретисту?

В мелкотравчатом педантизме «возрождения» отнял имя у улицы, забыл про обещание воздвигнуть памятник...

В тот самый день и час, когда упало полотнище, скрывавшее подарок Советского правительства «великому мастеру русского слова», тогда еще в Ленинграде, на Манежной площади, рядом с Невским проспектом, в скверике, захватившем середину довольно обширной площади, установили

красного камня урезанную призму в полметра высотой, с надписью, уверявшей отдыхающих в сквере старушек в том, что «Здесь будет сооружен памятник Н.В. Гоголю». И дата — «4 марта 1952 года».

Долговечность обещания служит наглядным указанием на то, что «гоголевский период» в русской литературе, быть может, и закончили, а в русской истории — нет.

Пусть Москва, о которой Гоголь Николай Васильевич не написал ни одного сочинения, украсилась двумя памятниками, но все-таки именно с Петербургом малороссийского насмешника и остроумца связывают особые, неизъяснимые нити.

Он ли не воздал должное всей этой куче «набросанных один на другой домов, гремящих улиц, кипящей меркантильности, этой безотрадной куче мод, нарядов, чиновников, диких северных ночей, блеску и низкой бесцветности»?..

Если андreeвский памятник насмешники называли памятником «носу», то закладной камень на Манежной площади не что иное, как сам по себе уже памятник «преглупому, ровному и гладкому месту», на котором у каждого порядочного человека должно быть что-нибудь осозаемое.

Стало быть, не дошел этот город еще до *порядочного* состояния, если продолжает уже чуть не полвека терпеть это «преглупое и пустое» место.

Нет, что ни говори, а Николай Васильевич Гоголь во всем равен сам себе, и предугадать, что с ним или вокруг него может случиться, просто нет никакой возможности.

Так что же это за явление такое — Гоголь, если любовь к нему выворачивается фарсом, если и сам он ускользает от дотошного внимания комментаторов и не дает возможности сказать о нем окончательное слово, если не только жизнь его, самим же Николаем Васильевичем изрядно мистифицированная, но и сама смерть и события, после смерти последовавшие, — все та же «гоголиада»?

«Как странно, как непостижимо играет судьба наша! Получали мы когда-нибудь то, чего желаем? Достигаем ли... Все происходит наоборот».

Ну что ж, понять хоть что-нибудь в Гоголе можно лишь вчитавшись в его сочинения, лишь взглядевшись после этого в ту жизнь, которая породила его, которую он так замечательно зорко увидел и подлинную ее суть запечатлел. И жизнь эта не осталась в прошлом веке, как не в прошлом веке и началась.

«Мы в Гоголе видим более важное значение для русского общества, чем в Пушкине: ибо Гоголь более поэт социальный, следовательно, более поэт в духе времени...» Это Виссарион Григорьевич Белинский.

«Он пробудил в нас сознание о нас самих — вот его истинная заслуга, важность которой не зависит от того, первым или десятым из наших великих писателей должны мы считать его в хронологическом порядке». Это Чернышевский, Николай Гаврилович.

А что же памятник, нельзя же без памятника!?

Одна из самых обширных и подробных глав «Завещания», составленного и широчайше обнародованного тридцатилетним Николаем Васильевичем Гоголем, касается его портрета и хлопот вокруг портрета, который был без его ведома кем-то опубликован, в то время как «сделан дурно и без сходства». Купивших портрет автор просит покупку тут же уничтожить, а покупать тот, «на котором будет выставлено: Гравировал Иорданов».

Что же касается памятника, то здесь воля автора не требует от нас, потомков и почитателей, ни поисков, ни затрат, ничего, кроме душевного усилия:

«ЗАВЕЩАЮ НЕ СТАВИТЬ НАДО МНОЮ НИКАКОГО ПАМЯТНИКА И НЕ ПОМЫШЛЯТЬ О ТАКОМ ПУСТЯКЕ, ХРИСТИАНИНА НЕДОСТОЙНОМ. КОМУ ЖЕ ИЗ БЛИЗКИХ МОИХ Я БЫЛ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДОРОГ, ТОТ ВОЗДВИГНЕТ МНЕ ПАМЯТНИК ИНАЧЕ: ВОЗДВИГНЕТ ОН ЕГО В СЕБЕ САМОМ СВОЕЙ НЕКОЛЕБИМОЙ ТВЕРДОСТЬЮ В ЖИЗНЕННОМ ДЕЛЕ, БОДРЕНЬЕМ И ОСВЕЖЕНЬЕМ ВОКРУГ СЕБЯ».